

Указами Президента СССР восстановлено советское

гражданство вынужденным эмигрантам. Среди них —

и Владимир Войнович. За рубежом оказалась и его семья.

Что удивляло, огорчало, радовало, что пришлось пережить здесь

и там — об этом заметки жены писателя.

1982 ГОД мы провели в Принстоне, в Америке. Это был вообще второй год нашей жизни на Западе. Принстонский университет — один из самых знаменитых в мире, и библиотека там тоже знаменитая. В принстонской библиотеке впервые пережила я весьма странное чувство. На полках русского зала книги писателей советского периода были расставлены, как обычно, в алфавитном порядке. Выглядело это примерно так: «А» — Ажаев, Айтматов, Адамович, Аксенов, Алигер, Ахматова, Атаров... «Б» — Бабаевский, Бабель, Березко, Бек, Белоз, Блок, Бубеннов, Бродский, Брежнев... «С» — Сахаров, Сельвинский, Серебрякова, Сняцкий, Симонов, Солженицын, Софронов...

Надо сказать, это было довольно сильное и неприятное чувство, холодок какой-то по спине, досада какая-то, и сама не знаешь почему. Впрочем, почему не знаешь? Привыкли-то мы к другому: в библиотеке — Ажаев, Березко, Симонов... А дома — Ахматова, Бродский, Солженицын... Вместе я эти книги никогда раньше не видела. Стояла, смотрела и думала: а как же это должно быть на самом деле?

СЕЙЧАС мы получаем много книг из Союза, много таких изданий, которые раньше были просто немислимы. И на полках нашей библиотеки они стоят рядом со старыми изданиями, ставятся нами не без чувства законного удовлетворения. Вот рядом с западным изданием «Жизни и судьбы» Гроссмана («Жизнь и судьба», роман, Лаш Дом, Швейцария, издание, в котором и мы сыграли некоторую роль) стоит советское. Вот рядом с западными изданиями пастернаковского «Доктора Живаго» — тоже новое, советское. С удовольствием осматриваю я эти ряды, с удовольствием втискиваю между старыми эмигрантскими изданиями новые. Бродский, Галич, Лидия Чуковская... Но к некоторым до сих пор не могу привыкнуть.

Вот, например, библиотека «Огонька», маленькие беляшечки в два листа, всегда с портретом автора на обложке. И кого мы привыкли видеть на этих обложках? Самодовольное, стандартно угрюмое лицо автора, совершенно не сомневающегося в своем праве красоваться на этой обложке и на всех других обложках тоже. И так мы привыкли к этим лицам, так вошло это в норму, что до сих пор испытываю я то же странное чувство растерянности, когда вижу новые издания этой огоньковской библиотеки. Вот Александр Володин, например, «Одноместный трамвай», записки несерьезного человека. Вот уж и правда, несерьезно это, совершенно несерьезно — издавать такие книги и с такими портретами. Худенький какой-то здесь, нелепый Александр Володин, и стоит как-то косо, и смотрит с недоумением, как будто и сам не может понять: и как это я, братцы, здесь очутился? Да и текст, надо сказать, не лучше:

«Мне надо было идти по делу. А на улице был ливень. Своей же сказала: «Пусть возьмет зонтик». А жена сказала: «Не надо, он его потеряет...»

Правда почему-то потом торжествует. Почему-то торжествует. Почему-то торжествует правда. Правда, потом. Людям она почему-то нужна. Хотя бы потом. Почему-то потом. Но почему-то обязательно...

Читаю я эту книжку, и опять смотрю на портрет автора, и не перестаю удивляться случившемуся. И если это возможно, то почему же, почему раньше так долго, всю мою жизнь было иначе?



Ирина ВОЙНОВИЧ

И мне кажется, что и Володин на обложке удивляется вместе со мной: а как это должно быть на самом деле?

КОГДА мы уезжали из Москвы, а было это 21 декабря 1980 года, я помню этот момент в аэропорту, как будто это было сейчас. Мы стоим за перегородкой, а по другую сторону стоят друзья и все провожающие. Мы еще здесь, но перегородка уже разделила нас, и они просто смотрят на нас и ничего не говорят. А мы стоим по другую сторону перегородки: виновник происшествия, я и маленькая Оля с игрушечным чемоданчиком в руках, в котором лежат самые маленькие ее куклы. Мы тоже смотрим туда, по ту сторону перегородки, и тоже ничего не говорим. И я не плачу, хотя точно знаю, что улетаю я вовсе не в Мюнхен, столицу Баварии с ее знаменитыми музеями, концертными залами и биргартенами, а улетаю я из Москвы на Тот Свет. Из жизни на Тот Свет. Так оно и получилось. Вы можете мне не верить и сказать, что это чепуха и какая-то мистика, а я вам говорю, что это никакая не мистика, а самая настоящая реальность. Можно прилететь в Мюнхен, как в Мюнхен, а можно прилететь в Мюнхен, как на Тот Свет. Вот если я, например, пришло вам сейчас приглашение на месяц, то вы приедете в Мюнхен. А если вы с двумя чемоданами ненужных уже здесь никому вещей приземлитесь в Мюнхене и узнаете, что никогда, слышите, никогда вы не увидите больше Москвы и лиц ваших родных и знакомых, то вы приехали на Тот Свет.

Так и приехали мы на Тот Свет и прожили несколько лет на Том Свете, прежде чем краски и запахи стали постепенно восстанавливаться, границы между Тем Светом и Этим размываться и в конце концов как-то почти исчезли. Как мы прожили эти годы — уже другая история. Сейчас я хочу только сказать, что на днях исполнилось десять лет с того момента, как стояли мы в московском аэропорту Шереметьево, ну, словом, всему тому, о чем я здесь только что рассказала. И моя лучшая здешняя подруга говорила мне недавно: «Альзо, скоро будем праздновать ваш первый здешний юбилей. 10 лет! Устроим большой праздник!» А я смотрела на нее, мою лучшую немецкую подругу, и говорила с сомнением: «Праздновать? А может, оплакивать? Ну, не оплакивать, но все же и не праздновать...» И видела,

что она меня не понимает. Так смотрели мы друг на друга с недоумением и не могли найти слова. Так что же это? Праздник? Или траур? И как это должно быть на самом деле?

КОГДА мы уезжали из Москвы, Оля только исполнилось семь лет. Перед отъездом, когда я плакала, Оля говорила мне: «Ну что ты плачешь,

Ира, что вы такое говорите? — строго спросила писательница, справедливо имея в виду, что в Москве клубника тоже не пахнет, но просто потому, что ее там нет. Но меня нельзя было переубедить. Я, правда, и сейчас думаю, что это очень плохо, когда клубника не пахнет и редиска не хрустит. Но вот что интересно. Сейчас, уверяю вас, и клубника пахнет, и редиска хрустит.

Лит. газета. 1990 — 26 дек (252) — с. 14.

Возвращение, или Как это должно быть на самом деле

что там все говорят не по-русски? Мы же дома можем говорить по-русски. А что нам еще надо? А друзья говорили: «Ну что ты плачешь? Зато Оля будет знать языки!»

Теперь она, конечно, знает языки. Кроме немецкого, хорошо говорит по-английски, учит латынь и французский. Только думает, видит сны и сочиняет стихи теперь не по-русски, а по-немецки. А как это должно было быть на самом деле?

ПЕРЕД отъездом из Москвы я читала почему-то «Изгнание» Лиона Фейхтвангера. Не то чтобы готовилась к изгнанию по всем правилам, а просто так получилось. Теперь мы расставались со своим домом, тем, что было нашим домом: людьми, вещами, книгами. В панике хваталась я то за одну книгу, то за другую, как будто на прощание хотела запечатлеть, вложить в себя то, что не могла увезти с собой. Фейхтвангер не входил в те два ящика книг, которые уезжали с нами.

В романе Зепп Траутвейн, мюнхенский музыкант и в описываемое гитлеровское время политический эмигрант, мечется по Парижу, тоскуя о любимом Мюнхене. «О мой Мюнхен!» Этот душевный вопль, это стелание звучит во всех его прогулках по Парижу:

«Внезапно Париж скрылся. Ему кажется, что он вдыхает воздух родного Мюнхена... Он ни на секунду не сомневается, что когда-нибудь вернется в Мюнхен... будет снова дирижировать в знаменитых залах Музыкальной академии и в Одеоне... Да, он знает, он уверен, что будет бродить по набережной Изара, любоваться стрельчатыми башенками Фрауэнкирхе, есть сосиски и пить мартовское пиво... И он видит себя в Опере — в огромном театре с нелепым занавесом... и он видит себя в изящном маленьком Резиденцтеатре...»

И кружа по мюнхенским улицам и переулкам в поисках похожего, ну хоть чуть-чуть похожего вида, дома, уголка, тоскуя около загадочной Фрауэнкирхе, около помпезной Оперы и изящного Резиденцтеатра, я вспоминала этот душевный вопль, эту физическую болезнь: «О мой Мюнхен!»

О моя Москва!

«Петух поет здесь по-немецки, — писала я в своих первых письмах в Москву. — Лес какой-то неживой, клубника не пахнет, а редиска не хрустит».

— Клубника здесь совершенно не пахнет, — пожаловалась я как-то по телефону в Москву старой, любимой мной писательнице в ответ на вопрос, как мы.

И лес здесь замечательный. И петух не поет больше по-немецки. Он поет по-своему, по-петушину, как ему и полагается петь, что могут подтвердить все наши московские друзья, побывавшие у нас со времени начала перестройки. Те же из них, кто читал мои письма, мои первые письма в Москву, те не спрашивают, почему я тогда писала, что петух поет по-немецки. Они знают, как это было на самом деле.

МНОГО было чужого в нашей новой чужой жизни на Западе. Вот, например, манера общаться. Звонит нам одна знакомая, приглашает на борщ. Специально для нас она сварит настоящий русский борщ. Когда? Ну, скажем, в ближайшее воскресенье. Нет, в воскресенье мы не можем, в воскресенье мы заняты. Тогда в следующее воскресенье? И в следующее тоже заняты. Тогда еще через неделю? Ну что ты будешь делать! Так и записала я себе в календарь: борщ, знакомая, через три недели.

Ну разве может быть такое в Москве? Сварила ли я борщ, или приехал кто-то, или книгу интересную принес, или просто гениальная мысль пришла — неужели же я буду ждать три недели! Сейчас! Немедленно! Бросай все и приходи! И приходили. И по телефонному звонку приходили, и без звонка приходили, тем более что телефон наш последние четыре года по распоряжению известной организации был вообще выключен. И званные приходили, и незванные приходили, и знакомые, и незнакомые, и советские, и иностранцы. Утомительно, скажете? Конечно, утомительно. И работать в такой суматохе не очень получается. А зато — спонтанно. Спонтанная русская жизнь, спонтанная русская душа. Не то что здесь, в Германии: чуть что, они за свой календарь — а что у нас в эту субботу, а что у нас в то воскресенье? А через два месяца у нас лыжные каникулы в Австрии, а через четыре — летние в Италии, и все уже заказано, а через год золотая свадьба у бабушки с дедушкой: мы ее празднуем в таком-то ресторане, и все уже заказано тоже. И смотрим мы на них и думаем: да откуда же ты знаешь, что будет у тебя через год? Да, может, бабушка твоя к этому времени умрет или дедушка ногу сломает? Или, может, козла с неба упадет или землетрясение случится, да разве же может человек знать, что с ним будет через год? Но смотрим, время подходит, и едет он сначала в лыжный отпуск, потом на море, а потом-таки на золотую свадьбу к

бабушке и дедушке. Точно так, как записано в его календаре.

Уже потом я поняла, что чем нормальнее жизнь, тем больше она поддается планированию. Наш последний год в Москве с моими родителями, которые до последней минуты не могли решить, что им делать, оставаться без нас в Москве или ехать с нами на восьмом десятке неизвестно куда, наша жизнь с отключенным телефоном и постоянной машиной КГБ у подъезда плохо поддавалась планированию. В самые худшие дни я думала только о настоящем моменте, что сделать сейчас, через час. И все равно ничего не могла изменить. Я желаю всем своим близким, всем моим соотечественникам, чтобы они тоже, как все нормальные люди на Западе, могли планировать свою жизнь спокойно и заранее. А спонтанность — это хорошо, конечно, но Бог с ней, со спонтанностью, если такой выбор: Пусть люди заранее планируют свою жизнь — так это должно быть на самом деле.

ЕЩЕ О СПОНТАННОСТИ. Так называемые «парти», приемы, гости, называйте как хотите. Первое время они нас совершенно подавляли и расстраивали. Ну что это такое, посудите сами? Собираются люди, часто даже совсем незнакомые. На большом столе стоит несколько блюд с едой. Здесь же тарелки. Подходи, бери, что хочешь, говори, с кем хочешь, а не хочешь, ни с кем не говори. И разговоры все какие-то необязательные (особенно потрясло меня это в Америке): «Ху ар ю? Верн найс ту мит ю!», все не о главном, и есть-пить никто не заставляет, хочешь — пей, не хочешь — не пей. То ли дело у нас: нет, так дело не пойдет, ешь, пей, а теперь давай выпьем за успех нашего безнадежного дела, ура, ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь, господа, а о Боге-то мы еще не говорили! Крик, гвалт, кто-то поет Окуджаву, кто-то уже заснул, а кто-то на кого-то обиделся на всю жизнь. И так нам этого сначала не хватало!

А теперь — приехали мы в Москву. Счастливы, сидим все за одним столом и говорим все хором, ну, словом, все — совсем как раньше и все об одном: быть или не быть? И на следующий день в другом доме, и на третий, и на четвертый — и опять все вместе, и опять об одном: быть или не быть? И со страстью, с накалом, с надрывом: быть или не быть? быть или не быть? И подумала я тогда, что даже, может, и неплохо было бы, если бы подошел кто-то, пусть даже и не очень знакомый, и спросил бы меня так просто: «Ху ар ю? Верн найс ту мит ю!» И отдохнула бы я от этой кошмарной напряженки, которая совершенно справедливо называется интенсивной духовной жизнью. Только при такой интенсивной духовной жизни на работу сил уже совсем не остается. А на Западе люди очень много работают. И вечером хочется им не напрягаться, а наоборот, расслабиться. Я вовсе не хочу сказать, что это лучше. Но так уж здесь получается, и мы уже к этому привыкли. А кто знает, как это должно быть на самом деле?

КОГДА весной прошлого года мы в первый раз смогли приехать в Москву, в аэропорту опять было много народу. Гораздо больше, чем тогда, когда мы уезжали. Конечно, это была радость, огромная радость. Но не только радость.

Бесконечные дежурные в гостиницах, вышибалы в ресторанах — чего они все дежурят и сторожат, сторожить-то уж давно нечего. Взгляд молодой женщины продавщицы в магазине готового платья на улице Горького обжег уже непонятной ненавистью: «Вам русским языком говорить, у нас учат!»

Но все-таки это не главное.

Да и сам русский язык, по которому была такая тоска. Теперь его вдруг оказалось слишком много, как деликатеса, которым нельзя же объедаться до одури. Он удивлял своим постоянным присутствием и — когда вот так: «Вам русским языком говорят!» — его было даже ненужно много. И в возможности

понимать все сказанное до малейшего нюанса тоже было какое-то излишество. Но и это не главное.

А что главное?

Двор писательского дома на Аэропортовской, где мы прожили последние пятнадцать лет, оказался грязным и каким-то чужим. Около нашего бывшего подъезда стояла старая кровать. (Точно такая же кровать стояла под лестницей дома на Маяковке, где находится редакция журнала «Юность». Четыре миллиона подписчиков, а кровать вытащить некому.) Это об этом дворе допрашивала я с пристрастием приезжавшего в Мюнхен на следующий год после нашей эмиграции соседа по дому. Разговор (по телефону) был примерно такой:

Я: Скажите, а пух от тополей летал по двору, когда вы уезжали? А липы пахли?

Он, возмущенно: Она меня будет спрашивать про липы! Вы спросите лучше, сколько стоит картошка на Ленинградском рынке, спросите, что говорил Феликс Кузнецов на последнем собрании, а она меня будет спрашивать про тополя и липы!

Тополя стояли на месте, соседи и лифтеры обступили нас, и ахали, и охали, и обнимали, и приглашали в гости. В саду стояли те же самые скамейки, на них сидели те же самые няни. По двору прошла та же самая дворничиха с тем же самым дрыном, которым она прочищает засорившиеся мусоропроводы, с тем же выражением досады на лице. Боже, чего только с нами не было за эти годы! А тут... Я подняла голову и посмотрела на наш бывший балкон на шестом этаже. Никогда не забуду тот день, когда я решила наконец в первый раз сказать родителям о том, что мы должны уехать. «Или на Запад, или на Восток, в Москве они больше жить не будут» — так нам было передано через одного компетентного литератора решение самых компетентных органов. Десять лет назад, кажется, это было тоже в марте, стояла я вот на этом балконе и смотрела вниз, вслед родителям, которые шли по двору после этого сообщения. Они шли медленно, осторожно, поддерживая друг друга под руку, а я хотела прыгнуть с этого балкона, прыгнуть, догнать их, схватить, остановить, сказать. Что сказать?

И если я хотела крикнуть с того же балкона другим людям, которые шли по двору, и еще другим, которые шли по улице и совсем ничего не знали. Я хотела крикнуть им: ну что же вы все молчите! Ну сделайте хоть что-нибудь, ведь не может же быть так, ведь так не бывает! Но люди шли и ничего не знали. Они были нормальные, обыкновенные люди, но они почему-то совсем ничего не знали. И если бы я крикнула им так вдруг, наверное, они приняли бы меня за сумасшедшую.

Это был тот же двор и тот же дом и те же скамейки и тополя. Но это был уже не мой двор и не мой дом. Прошлый? Неужели это и есть прошлое? И неужели та «моя Москва» стала тоже моим прошлым? Та «моя Москва», в поисках которой я рыскала по улицам и переулкам Мюнхена, Парижа, Нью-Йорка, выискивая, вынюхивая несуществующую схожесть, ну хоть малюсенькую похожесть в сочетании красок, в заброшенности скамейки в парке. О мой Мюнхен! О моя Москва!

И где же она сейчас, моя Москва? И станет ли эта реальная Москва когда-нибудь опять той, моей? Не знаю. Так много утрат, и так много изменилось во мне самой, что часто кажется: это уже невозможно.

И только... Когда я смотрю сейчас по телевизору демонстрации шахтеров и демонстрации москвичей и лозунги, лозунги, здесь, в немецком телевизоре русскими буквами: «Долой КГБ!», и тысячи людей, скандирующих: «До-лой К-Г-Б! До-лой К-Г-Б!» — я опять плачу. Почему это случилось только сейчас? И почему все эти люди раньше молчали? Почему они тогда молчали? И как это должно было быть на самом деле?

МЮНХЕН